

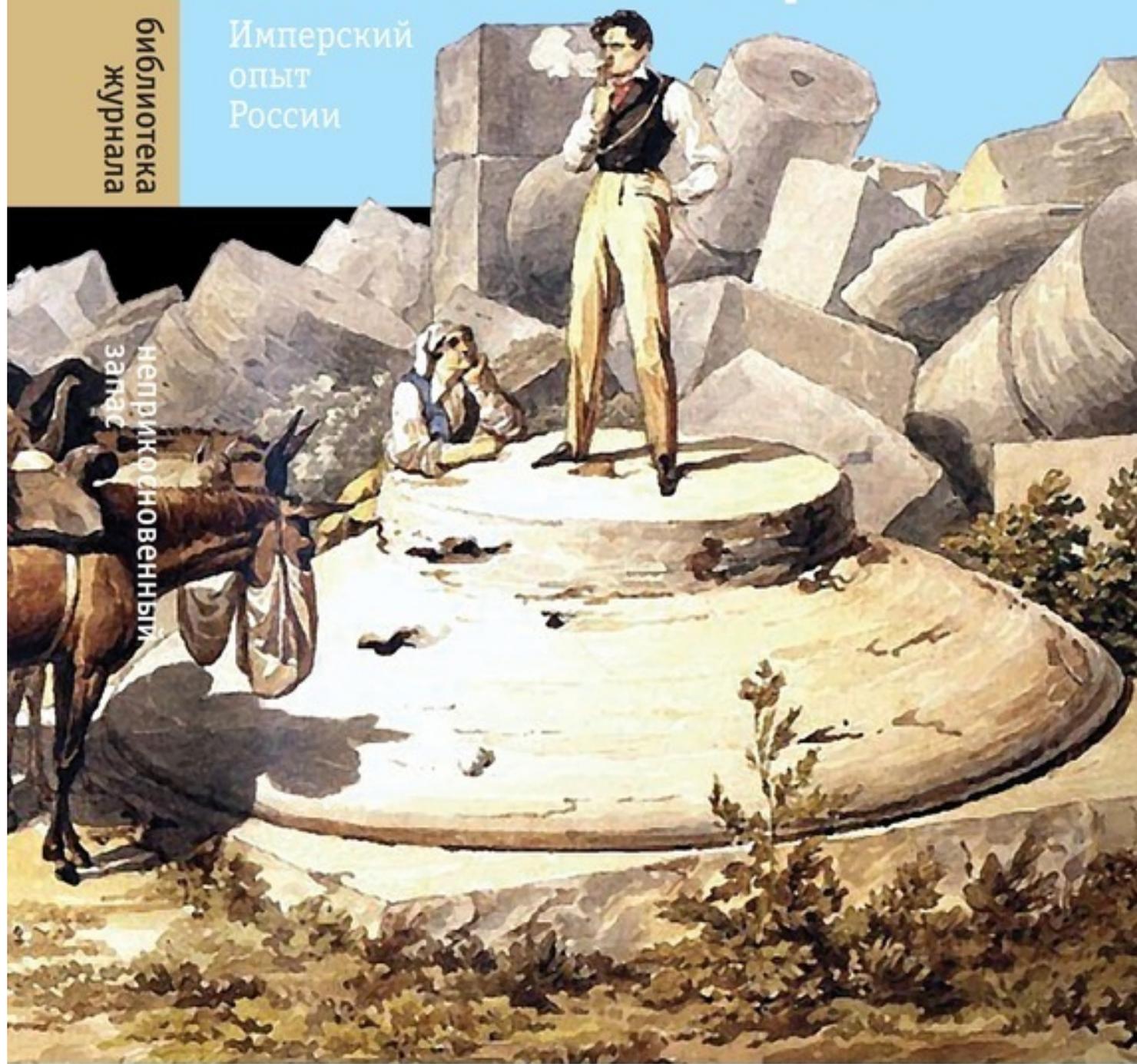
АЛЕКСАНДР ЭТКИНД

# ВНУТРЕННЯЯ КОЛОНИЗАЦИЯ

библиотека  
журнала

Имперский  
опыт  
России

неприсоединенный  
запас



Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Александр Эткинд

**Внутренняя колонизация.  
Имперский опыт России**

«НЛО»

2013

## **Эткинд А.**

Внутренняя колонизация. Имперский опыт России /  
А. Эткинд — «НЛО», 2013 — (Библиотека журнала  
«Неприкосновенный запас»)

ISBN 978-5-4448-0491-9

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизируя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей. Двигаясь от истории к литературе и обратно, Эткинд дает неожиданные интерпретации критических текстов об имперском опыте, авторами которых были Дефо и Толстой, Гоголь и Конрад, Кант и Бахтин.

ISBN 978-5-4448-0491-9

© Эткинд А., 2013

© НЛО, 2013

# Содержание

Благодарности	5
Введение	7
Часть I	15
Глава 1	15
На пути совершенствования	15
Славянская глушь	19
Эффект бумеранга	21
Глава 2	25
Три мира	25
Соболя Робинзона	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# Александр Эткинд

## Внутренняя колонизация. Имперский опыт России

### Благодарности

Работа над этой книгой была связана со многими долгами, которые нельзя вернуть. Мои родители, историки искусства Марк Эткинд и Юлия Каган, определили мои интересы неисповедимыми способами. Мой отчим, философ Моисей Каган, и мой дядя, литературовед Ефим Эткинд, были примерами мужества и таланта. Моей музой, критиком и редактором была Элизабет Рузвельт Мур. Наши сыновья, Марк и Мика, вдохновляли и отвлекали меня в пропорции, которая была и остается верной.

Игорь Смирнов, Нэнси Конди, Светлана Бойм и Марк Липовецкий поддержали меня своим интересом на ранних этапах этой работы. Олег Хархордин, Ирина Прохорова, Айрин Масинг-Делич и Алистер Ренфру редактировали первые опубликованные версии некоторых частей; я искренне признателен им за многолетнюю поддержку. Общение с Гаяном Пракашем помогло мне лучше понять основное русло постколониальных исследований. Конференция в Университете Пассау, «Внутренняя колонизация России», которую организовали мы с Дирком Уффельманном, оживила мой интерес к предмету. Для нас с Дирком, как и для нашего соредатора Ильи Кукулина и еще двух десятков авторов, эта конференция увенчалась публикацией большого сборника, который тематически связан с этой книгой<sup>1</sup>. Саймон Франклин, Эмма Уиддис, Рори Финнин, Яна Хаулетт, Кэролайн Хамфри и Харальд Выдра все эти годы были для меня отличными коллегами. Без Эли Зарецки, Джона Томпсона и издательства Polity я бы вовсе не сел писать эту книгу.

Некоторые главы выросли из докладов на семинаре кафедры славистики Кембриджского университета, конференции «Found in Translation» в Институте ван Леера в Иерусалиме, Евразийской конференции в Ханьянском университете (Сеул), а также на оживленных семинарах в Дареме, Сёдертёрне и Стэнфорде. Вопросы и замечания коллег нашли свое отражение в книге. Я благодарен исследователям, которые прочитали рукопись или ее главы, за их комментарии и советы. Их имена (в хронологическом порядке): Уиллард Сандерленд, Мария Майофис, Саймон Франклин, Уильям Тодд, Марк Бассин, Дирк Уффельманн, Марина Могильнер, Эрик Найман, Дэвид Мун, Рубен Галло, Майкл Минден, Питер Холквист, Яна Хаулетт, Валерия Соболев, Джейн Бербанк и Тони Ла Вопа.

Главы 6, 7 и 12 были частично опубликованы в российских журналах «Новое литературное обозрение» и *Ab Imperio*; глава 10 в *Russian Review* (2003. Октябрь. № 62); часть главы 8 в книге «Convergence and Divergence: Russia and Eastern Europe into the Twenty-First Century» (London: SSEES, 2007) под редакцией Питера Данкана; глава 5 в *The Journal of Eurasian Studies* (2011. № 2/2); часть главы 12 вошла в сборник «Critical Theory in Russia and the West» под редакцией Алистера Ренфру и Галина Тиханова (London: Routledge, 2010).

Я очень благодарен Владимиру Макарову за вдумчивое отношение к тексту и источникам. Редактор издательства НЛЮ Ирина Прохорова и редактор серии «Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»» Илья Калинин поддержали нас быстрыми решениями и полезными советами. Текст книги пересмотрен мною; в некоторых частях я его основа-

---

<sup>1</sup> См.: Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

тельно изменил или дополнил. Мне помогли рецензии на английское издание этой книги и новые советы коллег, особенно Кевина Платта, Евы Берар, Галины Никипорец-Такугавы, Дины Гусейновой, Гриши Фрейдина, Ариадны Арндт, Майка Финке, Александра Храмова и Андрея Тесля.

## Введение

В Москве в 1927 году Вальтер Беньямин с удивлением обнаружил, что Россия не знает романтического образа Востока. «Здесь нашло себе почву все, что есть в мире», говорили ему московские друзья, и Восток и Запад; «для нас нет ничего экзотичного». Более того, эти марксисты утверждали, что «экзотизм – это контрреволюционная идеология колониальной страны». Но, покончив с идеей востока, московские интеллектуалы вновь вернули ее к жизни, придав ей советский размах. «Самым интересным предметом» для новых московских фильмов стали российские крестьяне, которые казались их авторам очень непохожими на них самих: «По способу восприятия крестьянин резко отличается от городских масс». Когда крестьянин смотрит фильм, говорили Беньямину его московские друзья, он не способен следить за развитием «двух нитей повествования одновременно, как это бывает в кинематографе. Его восприятию доступна только одна серия образов, которые нужно показывать в хронологической последовательности». Поскольку крестьяне не могут понять темы и жанры, «взятые из буржуазной жизни», им нужно совсем новое искусство. Создать такое искусство – «один из самых грандиозных экспериментов над массовой психологией, которые проводятся в гигантской лаборатории, какой стала Россия», – писал Беньямин. Несмотря на свои симпатии к новому искусству и новой России, Беньямин не обольщался их успехами: «Колонизация России посредством кино дала осечку» (1999: 13–14).

Авторы, писавшие об имперской России, создали два нарратива. В одном великая страна успешно, хоть и неровно конкурирует с другими европейскими державами. В ней была великая литература и были поставлены беспримерные социальные эксперименты. Другой нарратив повествует об экономической отсталости, неограниченном насилии, нищете, неграмотности, отчаянии и крахе. Я согласен одновременно с обеими этими историями и не вижу в этом большой проблемы. В отличие от российских крестьян, которых друзья Беньямина экзотизировали в соответствии с давней традицией, ученый не может мыслить одноколейно. И все же наука не улица с двусторонним движением. Иными словами, нам нужно найти способ координировать разные истории, в которые мы верим.

Мое решение – своего рода эйзенштейновский монтаж, переплетенный общим принципом, которым в этой книге стала внутренняя колонизация. Я предлагаю этот термин в качестве метафоры или механизма, который делает возможным изучение Российской империи вместе с другими колониальными империями прошлого. Итак, в этой книге два нарратива о России соединяются в один – историю внутренней колонизации, в которой государство колонизовало народы, включая и тот народ, который дал этому государству его загадочное название.

В 1904 году великий историк Василий Ключевский писал, что «История России есть история страны, которая колонизируется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией»<sup>2</sup> (1956: 1/31). Одинаковая по протяженности с самим Российским государством, колонизация была направлена внутрь страны, но зона ее действия расширялась по мере того, как государственные границы перемещались в процессе внешней колонизации. Во времена Ключевского эта формула самоколонизации уже давно существовала в российской мысли (см. об этом в главе 4). Обогатившись колониальным и постколониальным опытом XX века, мы можем сделать из нее новые выводы. Россия была как субъектом, так и объектом колонизации и ее последствий, таких, например, как ориентализм. Занятое колонизацией иностранных территорий, государство также стремилось колонизовать внутренние земли России. В ответ на это многочисленные народы империи, включая

---

<sup>2</sup> Для многотомных изданий том и страница указываются через косую черту.

русский, развивали антиимперские, националистические идеи. Эти два направления колонизации России – внешнее и внутреннее – иногда конкурировали, а иногда были неотличимы друг от друга. Менявшиеся отношения между двумя векторами колонизации, внешним и внутренним, были не «застывшей диалектикой», как сказал бы Бенджамин, но скорее гремячей смесью. Без оксюморонных понятий, таких как «внутренняя колонизация», ее не понять.

Исследуя исторический опыт Российской империи вплоть до ее краха в 1917 году, эта книга утверждает его значение для постколониальной теории. Предметом внимания, однако, становятся внутренние проблемы империи, которые редко изучались в постколониальных терминах. С начала 1990-х годов интерес ученых к причинам и механизмам российской революции стал падать, уступая место исследованиям российского востока и окраин империи<sup>3</sup>. Разрыв, созданный революцией в теле истории, был велик; огромны были и силы преемственности. Стандартный в советское время телеологический подход учил, что предшествовавшие события «готовили» то, что за ними следовало, например революцию. Историки научились избегать такого подхода: участники событий не знали их исхода, о котором знаем мы, а их желания, опасения и действия были гораздо разнообразнее конечного результата. Однако историки – и все мы – хотят знать, почему российская революция и советский террор произошли именно на территории Российской империи<sup>4</sup>. Ответ на этот вопрос нельзя искать только в событиях предшествовавшей эпохи, но и отделять течение событий от их исторического прошлого тоже неверно. Я не ставлю себе целью объяснить российскую революцию, но надеюсь, что более глубокое понимание имперской России поможет разобраться в революции, ее завершившей, и в том, что произошло в советский период, а может, и позже.

Сосредоточенная на культурной динамике в разных ее аспектах, эта книга стремится преодолеть еще один разрыв – между двумя дисциплинами, историей и литературой. Этот разрыв никому не нравится, но мирятся с ним многие. Не так давно Нэнси Конди заметила, что если исследования стран и регионов основаны на обмене между дисциплинами, то в исследованиях культуры «междисциплинарность стала частью самого проекта» (1995: 298). Моя книга принадлежит междисциплинарному проекту культуральных исследований, который я трактую в историческом ключе<sup>5</sup>.

Для историка культуры рискованно включать в свое исследование различные дисциплины, голоса и периоды. Я черпаю свою смелость в идее, что высокая литература и культура играли необычную роль в российском политическом процессе. Как будет показано на нескольких примерах, активистская и, более того, трансформистская культура были важными аспектами внутренней колонизации. Благодаря парадоксальному механизму, который прояснил Мишель Фуко в своей «репрессивной гипотезе» (Foucault 1998; см. также: Rothberg 2009), угнетение делало культуру политически релевантной, а власть – культурно продуктивной. В русской культуре Российская империя одновременно искала инструмент управления и боялась ее как орудия революции. Культура была и экраном, на котором нахо-

---

<sup>3</sup> Литература по этим темам слишком обширна, чтобы приводить здесь ее обзор. По проблеме российского востока полезны классическая работа Brower, Lazzarini 1997; а также Barrett 1999; Bassin 1999; Geraci 2001. Об ориентализме в России см.: Layton 1994; Sahni 1997; Khalidetal 2000; Сопленков 2000; Thompson 2000; Collier и др. 2003; Ram 2003; Tolz 2005; Schimmelpenninck 2010. О Российской империи в сравнительной перспективе см.: Burbank, Ransel 1998; Lieven 2003; Герасимов и др. 2004; Gerasimov и др. 2009; Burbank, Cooper 2010.

<sup>4</sup> В советской и западной социальной истории этнические и конфессиональные аспекты российских революций были надолго заслонены классовым подходом. Они получили новое освещение в последние десятилетия: Martin 2001; Slezkine 2004; Hirsch 2005; Riga 2012. Расчеты эдинбургского социолога, Лилиан Риги, оценивают представительство нерусских меньшинств (украинцев, поляков, евреев, грузин и прочих) среди «революционной элиты» в 2/3. Среди трети этнических русских определенная доля была связана с неправославными религиозными традициями (подробнее см. главу 10).

<sup>5</sup> О моем понимании культуральных исследований (Cultural Studies) и их методологии применительно к России см.: Лысаков, Эткинд 2006.

дящееся в опасности общество видело себя, и уникальным органом самосознания, обратной связи, предупреждения и скорби.

\* \* \*

В России социальные революции вели к великим и трагическим трансформациям. Но поразительной была и непрерывность имперской истории, географии, экологии. Россия появилась на международной арене в то же время, что Португальская и Испанская империи. Она расширялась в соперничестве с имперскими континентальными государствами – Австрийской и Османской империями на западе, Китаем и Северо-Американскими Штатами на востоке. Зрелости она достигла, конкурируя с морскими империями Нового времени – Британской, Французской и Японской. Выигрывая и проигрывая, она пережила почти всех. Если посчитать площадь территории, которую империи контролировали год за годом в течение столетий, то по числу квадратных километро-лет получится, что Российская империя была самой большой и самой долговечной империей в истории. Вместе Московское государство, Россия и СССР контролировали 65 млн км<sup>2</sup>/лет – много больше, чем Британская империя (45 млн км<sup>2</sup>/лет) и Римская (30 млн км<sup>2</sup>/лет; см.: Таагерга 1988). Когда была основана Российская империя, средний радиус территории европейского государства составлял 160 км. Учитывая скорость коммуникации в то время, социологи полагают, что государство не могло контролировать территорию, радиус которой превышал 400 км (Tilly 1990: 47). Но расстояние между Санкт-Петербургом и Петропавловском-Камчатским, основанным в 1740 году, составляло примерно 9500 км. Империя была огромной, и с ее ростом проблемы становились все значительнее. Но в течение всего имперского периода цари и их советники называли огромность российских пространств основной причиной имперского могущества. Огромность этих пространств была основным мотивом и для дальнейшей централизации власти, и для еще большего расширения империи.

Превосходя размерами Советский Союз и нынешнюю Российскую Федерацию, империя царей простиралась от Польши, Финляндии и Кавказа до Средней Азии, Маньчжурии и Аляски. Российские войска в 1760 году взяли Берлин, а в 1814-м – Париж. После победы над Наполеоном российские дипломаты создали Священный союз, ставший первой попыткой европейской интеграции. Империя постоянно вела колониальные войны за спорные территории в Европе и Азии. Осуществив впечатляющие броски на берега Балтийского и Черного морей, за Тихий океан и в географический центр Евразии, она вызывала и подавляла бунты на Урале, восстания в Польше, вела Большую игру в Средней Азии и непрекращавшуюся войну на Кавказе. С продажей Аляски в 1867 году территория империи начала сокращаться, и эта тенденция продолжилась в XX веке. Но петербургские правители продолжали мечтать о Константинополе и Иерусалиме, и эти надежды питали военные усилия России вплоть до Первой мировой войны (McMeekin 2011). Серия русских революций изменила карту Европы и структуру Российского государства. Начавшись как яростный взрыв антиимперских настроений, революция 1917 года привела к новому рабству. Однако территория, подвластная Москве, продолжала расти и после Второй мировой войны, когда распались другие европейские империи. Даже с распадом СССР Кремль потерял меньше территорий, чем западные империи потеряли от деколонизации. В XXI веке мир с удивлением следит за имперскими амбициями постсоветской России.

Европейский гость XVI века сформулировал дилемму, к которой до сих пор обращается русская и русистская мысль: «Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким» (Герберштейн 1988: 74). Понять это трудно, но главные вопросы

политического действия – «кто виноват?» и «что делать?» – критически зависят от этого понимания. Логический круг, обрисованный австрийским послом, подлежал размыканию двумя способами: этнографической мифологией либо политической наукой. Четыре столетия спустя американский дипломат видел ту же проблему, но решал ее без колебаний. В «длинной телеграмме» (1946), ознаменовавшей начало холодной войны, Джордж Кеннан объяснял особенности российской государственности и исходящие от нее опасности «традиционным и инстинктивным для России чувством незащищенности». Он приписывал этот «невротический взгляд» на свое положение в мире правителям России, а не ее народам. После того как Кеннан отослал свою телеграмму, произошли новые события, и его мысль можно заострить. На протяжении большей части российской истории невротический страх правителей, смешанный с желанием, обращался не к внешним врагам, но к пространству внутри страны и к ее населению. Это огромное пространство было населено великим разнообразием подданных, русским и другими народами, от которых российские правители не чувствовали и не чувствуют себя защищенными.

Вслед за Эдвардом Саидом (1978, 1993) постколониальные исследователи подчеркивали значение океанов, которые отделяли имперские метрополии от их далеких колоний, и романтику морских странствий, которые создавали и связывали империи. В этих исследованиях заморский колониализм выглядит более предприимчивым, самоуверенным и репрессивным – одним словом, более империалистическим, – чем колониализм континентальный. На деле до изобретения железных дорог и телеграфа сухопутные пространства было труднее преодолевать, чем морские. В середине XVIII века немецкий ученый Герхард Фридрих Миллер организовал российскую экспедицию в Сибирь. Длина его маршрута, проделанного пешком, верхом и в санях, была почти равна длине экватора, и он преодолел это расстояние за десять лет; по морям капитан Кук обогнул земной шар за три года. В мирное время перевезти грузы из Архангельска по морю в Лондон было быстрее и дешевле, чем из Архангельска по суше в Москву. В военное время грузы и войска плыли из Гибралтара в Балаклаву быстрее, чем ехали из Москвы в Крым. К началу XIX века доставлять грузы в российские базы на Аляске было в два – четыре раза дешевле плаванием через три океана, чем сухопутным путем через Сибирь, и к тому же безопаснее; именно так, кругосветным плаванием из Петербурга или Одессы, империя доставляла зерно и масло в Русскую Америку (История 1997: 239–247). На транспортировку пушнины из Аляски через Сибирь в Китай уходило два года; американские корабли доставляли ее за пять месяцев (Foust 1969: 321). И технически, и психологически Индия была ближе к Лондону, чем многие губернии Российской империи – к Петербургу. Океаны соединяли, а земля разделяла. В море были враги и пираты, но не было подданных – чуждых, бедных, недовольных или непокорных народов, которых надо было усмирять, исследовать, переселять, просвещать, облагать налогами, набирать из них рекрутов, отвечать за них перед миром. Теоретически векторы внешней и внутренней колонизации противостояли друг другу. На практике они пересекались и даже сливались. Как две головы российского орла, растущие из недостаточного для них тела, два вектора колонизации конкурировали за ограниченные ресурсы – человеческие, интеллектуальные, финансовые.

Созданная ее правителями в попытке сделать их страну жизнеспособной и конкурентной державой, Российская империя с самого начала была космополитическим проектом. Как и современные ученые, российские императоры все время сравнивали Россию с другими европейскими империями. С их первых и до последних дней внимание царей было приковано к проблемным зонам на периферии, а ядро российского населения они воспринимали как ограниченный и не всегда надежный, но данный Богом ресурс. Колонизировав многочисленные земли, Россия применяла колониальные режимы непрямого правления – принудительные, коммунитарные и экзотизирующие – к собственному населению. Богатая насильем

и бедная капиталом (Tilly 1990), империя осваивала и защищала эти огромные земли, давно или недавно приобретенные по причинам, о которых помнили – или уже не помнили? – одни только историки. В рассказе Льва Толстого «Сколько человеку земли нужно?» крестьянин покидает «перенаселенную» Центральную Россию и отправляется в колонизованные степи Башкирии, где дружелюбные номады предлагают ему столько земли, сколько он сможет обойти за день. От рассвета до заката он идет и бежит – и умирает от истощения, завершив круг. Тут его и хоронят кочевники: вот сколько земли, как раз для тела, нужно человеку, говорит Толстой. Но он сам приобретал поместье за поместьем, субсидируя сельскохозяйственные эксперименты гонорамами от своих романов.

Грамматика различает подлежащее и дополнение, субъект и объект. Для истории такое различие не обязательно. Навязанные самому себе задания – самодисциплина, внутренний контроль, колонизация себе подобных – по существу своему парадоксальны. Сталкиваясь с такими самореферентными конструктами, человеческие языки, включая научный, заходят в тупик. В XXI веке исследователи глобализации сталкиваются с теми же проблемами, что историки Российской империи встретили в XIX веке. Конечно, я надеюсь, что мир будущего будет похож на Российскую империю не более, чем на Британскую Индию. Но имперский опыт России и ее эксперименты над собой еще могут преподать нам уроки.

\* \* \*

Итак, что такое внутренняя колонизация – метафора или механизм? Немало философских трудов доказывают, что это не корректное различие, но я так не считаю. Насколько возможно, я стараюсь полагаться на точные слова исторических лиц, их собственные формулировки и заботы. Исследователь современных империй утверждает, что, поскольку термин «империя» применяют ко всему подряд, чтобы понять, что такое империя, надо изучать общества и ситуации, которые сами используют это понятие (Bessinger 2006). Сходным образом, я изучаю то, как в российской историографии использовались понятия «колонизация» и «самоколонизация» в разных лексических формах, свойственных русскому языку. Хотя государственные деятели в России не часто использовали эти термины, российские историки обильно оперировали ими. Более того, они начали использовать эти или подобные понятия раньше и делали это более осмысленно, чем я предполагал, начиная работу над этой книгой. Как метафора, раскрывающая механизм, внутренняя колонизация – старинный и хорошо проверенный инструмент познания.

Колонизация всегда состоит из двух компонентов, культурного и политического. Проявлением чистого насилия является не колонизация, а геноцид. Культурное влияние само по себе ведет к просвещению, а не колонизации. Когда мы говорим о процессе колонизации, мы видим, как культурная гегемония и политическое доминирование работают вместе – в некоем союзе, соотношении или противостоянии. Немецкий философ Юрген Хабермас говорит о внутренней колонизации как сверхструктуре, в которую объединены когнитивные, правовые и даже конституционные изменения в современных обществах. Новации современности «падают в жизненный мир извне – как колонизаторы в племенное общество – и принуждают его к ассимиляции» (1987: 2/355). С помощью понятия внутренней колонизации Хабермас проводит аналогию и подчеркивает различие между колониализмом и современностью: многоязычное западное общество ассимилирует современность и сопротивляется ей, как будто она привнесена колонизаторами, хотя они говорят на том же языке. На самом же деле это общество навязывает современность самому себе. Хабермас описывает культурный конфликт, который не основан на этническом или языковом различии. Даже в столь широком смысле концепция внутренней колонизации предполагает агрессивное противостояние враждебных друг другу сил, хоть эти силы и находятся внутри одного общества.

Согласно классическим определениям, колонизация (и колониализм как ее идеологическая система) означает процесс доминирования, в котором переселенцы мигрируют из колонизирующей группы на колонизованную территорию. Империализм – более широкая форма доминирования, которая не нуждается в подобном переселении (Н.Р. 1895; Hobson 1902; Horvath 1972). Теоретические определения колонизации не уточняют, должна ли миграция населения происходить внутри имперских или национальных границ, или она выходит за их пределы, и обязательно ли само существование этих границ. Однако и в интуитивном понимании, и в практическом применении этого понятия колонизация обычно означала отъезд колонистов за границу. На этом фоне внутренняя колонизация означает процесс культурной экспансии, гегемонии, ассимиляции в пределах государственных границ, реальных или воображаемых. Колонизация есть осуществление власти, структурированное различиями – географическими, лингвистическими, культурными. Внешняя колонизация осуществляет эти процессы вовне, а внутренняя колонизация внутри сложившихся границ государства, хотя сами эти границы подвижны колонизацией. Скрещивая границы и различия, колонизация осуществляется в сферах реального и воображаемого. В конце XIX – начале XX века прусские и немецкие политики вели амбициозную программу «внутренней колонизации» (*Innere Kolonisation*) Восточной Европы, которую подпитывали исторические знания, реальные и сфабрикованные: колонизация потому называлась внутренней, что предполагалось, что желаемые земли когда-то принадлежали немецким государствам. Российские историки употребляли сходное понятие, «колонизация себя», без видимых политических целей, но зато создали вокруг него оригинальный, хотя и забытый дискурс. К идеям одного из них – блестящего одиночки Афанасия Щапова (1830–1876) – я часто возвращаюсь на страницах этой книги.

После российской революции и деколонизации Третьего мира концепция внутренней колонизации на некоторое время исчезла из поля зрения. В 1951 году Ханна Арендт (Arendt 1970) ввела термин «колониальный бумеранг» – процесс, в котором имперские власти переносят практику принуждения из колоний обратно в метрополию. Несколько лет спустя Эме Сезар сформулировал похожую идею «обратного шока империализма» (Césaire 1955), примером которого он считал Холокост. После 1968 года социологи переизобрели концепцию внутренней колонизации, чтобы применить постколониальный язык к внутренним проблемам метрополий. Американский социолог Роберт Блаунер (Blauener 1969) изучал жизнь афроамериканцев в США, в том числе гетто и городские беспорядки как феномены внутренней колонизации. В лекциях 1975–1976 годов Мишель Фуко употреблял этот термин в более широком смысле – как перенос колониальных моделей власти обратно на Запад (2005: 117). Британский социолог Майкл Хечтер (Hechter 1975) использовал концепцию внутренней колонизации в работе о центре и периферии Британских островов, с особым акцентом на политическую жизнь Уэльса. Пересматривая классическое словоупотребление, Хечтер нейтрализовал роль географической дистанции между колонизатором и колонизируемым, которая ранее была определяющей чертой колониализма. Однако для анализа конкретных ситуаций Хечтеру все же было необходимо этническое различие между метрополией и колонией (например, между англичанами и валлийцами). После Хечтера следующим шагом стала деконструкция этнического различия, выявляющая внутренний колониализм в мозаичном этнолингвистическом поле, которое структурировано культурными воплощениями власти. В этом понимании термины внутренней колонизации/колониализма использовали историк Юджин Вебер (Weber 1976), социолог Элвин В. Голднер (Gouldner 1977), антрополог Джеймс Скотт (Scott 1998), литературовед Марк Нетцлофф (Netzlöff 2003) и группа историков-медиевистов (Fernandez-Armesto, Muldoon 2008). В исследовании французской культуры середины XX века историк Кристин Росс наблюдала, как Франция обратилась к «некоей форме внутреннего колониализма», когда «рациональные техники управления, раз-

работанные в колониях, были перенесены обратно» в метрополию (Ross 1996: 7). Идею внутренней колонизации обсуждали и критиковали, обычно со смешанными чувствами (Hind 1984; Love 1989; Liu 2000; Calvert 2001). Несколько крупных историков упоминали о колониальном характере внутренней власти в России, но подробно на этом тезисе не останавливались (Braudel 1967: 62, Rogger 1993; Ferro 1997: 49; Lieven 2003: 257; Snyder 2010: 20, 391). Постколониальные исследования почти полностью игнорируют российский аспект колониальной истории. В трудах по русской литературе и истории, однако, некоторые авторы обращались к концепции внутренней колонизации (Гройс 1993; Эткинд 1998, 2002; Etkind 2007; Кагарлицкий 2003; Viola 2009; Condee 2009; Храмов 2012; Кукулин, Уффельман, Эткинд 2012).

Разрабатывая свою политизированную концепцию культурной истории, я намереваюсь соединить ее с более традиционным, текст-ориентированным подходом, характерным для литературоведа. У этой задачи три измерения – историческое, культурное и политическое. Как специалист по России, я вполне согласен с Энн Лорой Столер, специалистом по Юго-Восточной Азии: «Исчезновение колониализма (внутреннего или иного) из истории отдельных наций – это процесс целиком и полностью политический» (Stoler 2009: 34). Тем не менее я показываю, что в классической российской историографии это исчезновение никогда не было полным. Меня интересуют политические причины как присутствия, так и отсутствия идей колонизации, внешней и внутренней, в национальной и имперской историографии. Однако в главе 5, вероятно, самой спорной в этой книге, я выхожу за пределы культурной истории и обращаюсь к политической экономии, чтобы понять Российское государство в его длинной истории, *longue durée*. В мои намерения не входит искать исторический инвариант, охватывающий столетия; скорее я стремлюсь понять повторяющиеся взаимодействия между изменяющимися географическими, экологическими и политическими факторами, которые определили имперский опыт России. Как это произошло и в других областях постколониальных исследований, центр внимания в моей книге смещается с описаний исторических событий и социальных практик имперского прошлого на тексты, которые прежде меня описывали это прошлое, – тексты, определяющие саму нашу способность представлять себе и другим это прошлое с его событиями и практиками. Этот сдвиг структурирует мою книгу в тематическом и хронологическом отношениях.

Главы 1 и 2 раскрывают контекст холодной войны в концепции «Ориентализма» Эдварда Саида и дополняют Саида, рассматривая приключения некоторых ориенталистов в России. В главе 3 я обращаюсь к дискуссиям о происхождении российской монархии и тому, как они объясняли природу внутренней колонизации. Глава 4 прослеживает парадигму самоколонизации в наиболее известных трудах по российской историографии XIX века. Глава 5 посвящена торговле пушниной, которой Россия была обязана ранним экономическим бумом и географической экспансией на восток. Этот выгодный бизнес создал огромную территорию, впоследствии пережившую смуты, расколы и реколонизации. В главах 6 и 7 рассмотрены специфические институты внутренней колонизации – сословие и община. Конструируя аналогию между расой и сословием, я приглашаю читателей проследить, как Санкт-Петербург превращался из форпоста колонизации в чудо Просвещения. Глава 8 посвящена бурной интеллектуальной деятельности одного из институтов власти Российской империи – Министерства внутренних дел. Заключительная часть книги включает несколько частных случаев культурной истории империи. Глава 9 обращается к Иммануилу Канту в неожиданный и малоизвестный период его биографии – годы его российского подданства. Я не согласен с современными исследователями, которые представляют Канта игнорирующим проблемы колониального угнетения или нечувствительным к ним. Напротив, в моем представлении он, обладавший ранним опытом белого субалтерна, – (пост)колониальный интеллект. В главе 10 я рассматриваю религиозные движения в России в их мифических и

реальных связях с революцией. Экзотизируя народ и интерпретируя его «тайную жизнь», миссионеры, историки и этнографы конца XIX века приписывали ему самые невероятные черты. В результате народники и социалисты рассчитывали на помощь народных сект в осуществлении своих проектов революции, тоже невероятных. В главе 11 сравниваются антиимперские нарративы двух больших авторов – Джозефа Конрада и Николая Лескова. Оба они, каждый по-своему, увлеченно исследовали опыт Российской империи и резко критиковали его. На основе трех классических текстов русской литературы в главе 12 я рассматриваю русский роман как механизм жертвоприношения, который воспроизводил меняющиеся взаимоотношения между полами и сословиями в империи. Теоретические взгляды Михаила Бахтина и Рене Жирара тут соединяются с историческим контекстом внутренней колонизации.

В этой книге вы встретите российских и западных классиков – Пушкина и Толстого, Гоголя и Маколея, Лескова и Конрада, Бахтина и Жирара – в неожиданных и, я надеюсь, поучительных контекстах. Я обращаюсь и к историческим фигурам, менее известным читателю. Всегда озабоченная территорией, колонизация делалась людьми и над людьми. Через эту книгу ее герои – руководители и жертвы, критики и еретики российской колонизации – встретятся с продолжателями их разнообразных дел, читателями.

# Часть I

## Нетрадиционный Восток

### Глава 1

#### Два, но меньше чем один

25 марта 1842 года в Санкт-Петербурге один чиновник потерял нос. Коллежский асессор Ковалев только что вернулся с охваченного войной Кавказа – южного рубежа империи. В столице он надеялся получить повышение по службе, стать вице-губернатором где-нибудь в Центральной России и тихо жить там, собирая взятки. Но его предал нос; он сбежал, оставив вместо себя «гладкое место». Ковалеву было так плохо ходить без носа, что он пропустил собеседование на желанную должность и перестал ездить к женщинам. Но потом нос был пойман по дороге в Ригу – западную границу империи. «Россия такая чудная земля», – заметил Гоголь, придумавший эту историю, что «если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет» (Гоголь 3/42). Камчатка была восточным рубежом империи, а за ней еще была русская Аляска, где тоже бывали коллежские асессоры. Все равно, с Кавказа в Петербург, от Риги до Камчатки – дальний путь для одного носа.

### На пути совершенствования

«Нос» Гоголя – пример того, что Хоми Баба назвал «колониальным раздвоением» и описал как необходимый аспект жизненного мира в имперской колонии. Часть тела можно потерять разными способами, в результате кастрации, или деколонизации, или к примеру бритья, или несколькими способами сразу. Изображая безликого колониального администратора, Гоголь представляет его нос как имперский фетиш – «метонимию присутствия», где присутствие недостижимо, а его черты неузнаваемы. Для Ковалева нет бытия без носа. Все, что требуется целому, – власть, деньги, женщины – невозможно без носа. Когда нос на месте, он всего лишь малая часть целого, метонимия безупречного функционирования Ковалева как телесного и имперского субъекта. Исчезнув, нос становится всеобъемлющим символом нереализованных стремлений, сводной метафорой всех благ, тел и статусов, которые недостижимы для безносого, – вице-губернаторской должности, выгодной невесты, социальных развлечений. Часть тела становится фетишем, когда она потеряна. Отношения части и целого у Гоголя аналогичны отношениям раба и господина у Гегеля. Пока часть является рабом целого, порядку ничто не угрожает. Но восстание части против целого еще более серьезно, чем восстание раба против господина, так как оно ставит под вопрос глубочайшие основы культурного порядка, те, что кажутся самыми натуральными. Колониальные отношения пронизывают все социальные тела, не исключая и тело Ковалева. Вместе со своим носом-сепаратистом Ковалев иллюстрирует загадочную, будто из Гоголя, формулу, которую Хоми Баба повторяет без объяснений, как постколониальную мантру: «Два, но меньше чем один» (*less than one and double*) (Bhabha 1994: 130, 166).

Писатель с образцовой имперской биографией, Гоголь родился на Украине и переехал в Санкт-Петербург. В столице ему не удалось две карьеры, чиновника и историка, но потом он преуспел как писатель и снова провалился как политический теолог. Гоголь – великий колониальный автор, стоящий в одном ряду с Джойсом и Конрадом. Его роман «Мертвые души» – сокрушительная критика имперского опыта. Герой, дворянин Чичиков, планирует пересе-

лить крестьян, купленных им в Центральной России, в недавно колонизованные земли Херсонской губернии, чтобы потом заложить имение государству. Как покупатель он предпочитает умерших крестьян: так их легче перевезти с собой через пол-Европы на птице-тройке в Новороссию. Там, под Херсоном, еще можно было найти следы потемкинских деревень – подходящее место для мертвых душ. Но и внутренним губерниям, по которым ездит Чичиков, скупая души, не стоило доверяться; местные чиновники могли увидеть в проезжем дворянине ревизора, предлагая ему дары и дочерей, а могли и выпороть, нарушая сословные законы. Когда в 1836 году состоялась постановка «Ревизора», именно колониальный аспект авторского воображения вызвал гневные отзывы критиков. Описанные события никак не могли произойти в Центральной России, разве только в Малороссии, или в Белоруссии, или вообще на Гавайях: где-нибудь «на Сандвичевых островах, во времена капитана Кука», писал критик Фаддей Булгарин (1836).

«Мертвые души» и «Ревизора» нужно читать как саги колонизации, равные «Робинзону Крузо» или «Моби Дику». С носом или без носа, с мертвыми душами или живыми персонажи Гоголя – точные образы «человека пост-Просвещения, привязанного к своему темному отражению, которому он не способен противостоять, – к тени колонизованного им человека, которая расщепляет его существование, искажает его профиль, нарушает его границы, повторяет его действия на расстоянии, заполняет и разрушает само время его бытия» (Bhabha 1994: 62). Колониальную природу гоголевского воображения подчеркивают недавние исследования, вдохновленные постсоветской трансформацией в Украине (Шкандрий 2001; Wojanowska 2007). Понятно, почему постколониальные исследователи обращаются к украинским корням и сюжетам Гоголя, но колониальная природа его трудов о России и русских – таких, как «Нос» и «Мертвые души», – ускользает от этих ученых: ее не разглядеть без концепции внутренней колонизации. Постколониальные исследования проясняют наше понимание Гоголя, но верно и обратное: Гоголь помогает понять, о чем говорит Хоми Баба.

В 1835 году, когда Гоголь читал лекции по всеобщей истории в Императорском Санкт-Петербургском университете, а Ковалев начинал службу на Северном Кавказе, лорд Маколей выступил с речью, опубликованной под заглавием «Заметки об образовании в Индии». Будучи членом Верховного совета при британском вице-короле Индии, Маколей доказывал, что только преподавание английского языка индийской элите сможет создать «переводчиков между нами и миллионами, которыми мы управляем». Образцом в этом деле он выбрал Россию:

Нация, которая прежде была столь же варварской, какими были наши предки до крестовых походов, за последние сто двадцать лет вышла из невежества... Я говорю о России. В этой стране создан обширный класс образованных людей, которые достойны занимать самые высокие должности... Есть повод надеяться, что эта обширная империя, которая во времена наших дедов, вероятно, отставала от Пенджаба, при наших внуках догонит Францию и Британию на пути совершенствования (Macaulay 1862: 109–110).

Для Маколея метрополия и колония – ступени на лестнице всеобщей истории. Там, где Англия была в X веке, Россия оказалась в XVIII, а скоро там окажется и Пенджаб. В Англии каждая следующая стадия «совершенствования» мягко и постепенно сменяла предыдущую. В пространстве Британской империи, однако, разные стадии прогресса сосуществовали и сталкивались между собой. Задачей империи было привести этот хаос – расы, касты, народности, сословия – к порядку: создавать категории, управлять иерархиями, регулировать дистанции, обучать элиты. После Петра Великого, писал Маколей, «языки Запад-

ной Европы цивилизовали Россию. Нет сомнения, что они сделают с индусом то же, что сделали с татаринам».

Немного позже российский критик Виссарион Белинский заметил, что без Петра «Россия, может быть, сблизилась бы с Европою и приняла бы ее цивилизацию, но точно так же, как Индия с Англиею» (1954: 5/142). Другими словами, Белинский считал самовестернизацию России ответом на страх ее колонизации Западом. Сам этот страх, разумеется, тоже пришел с запада; он был одним из тех «языков», которые Россия, как и Индия, заимствовала из Европы. И все же Индия была колонией, а Россия – империей; интересно, что, проводя свою аналогию, Маколей не замечал разницы. Для Белинского же и его читателей ключевым фактом было то, что Россия – суверенное государство, а Индия – нет. Различие между высшими и низшими группами и в Британской, и в Российской империи было огромным, но в первом случае оно пролегалo между метрополией и колонией, разделенных океанами, а во втором – между разными группами в пределах одной континентальной метрополии, чьи колонии находились внутри нее. В национальных государствах Европы линия прогресса была прямой; в их имперских владениях она искривлялась и образовывала складки. Впоследствии с этим столкнулись и теоретики марксизма, когда занялись Россией; Троцкий назвал это явление «комбинированным и неравномерным развитием» (Троцкий 1922, Trotsky 1959). Это значило, что передовые и отсталые общества одновременно существовали и по-разному развивались в России, а их противоречия «неизбежно» должны были привести к революции (Кней-Раз 1978: 95).

В течение Высокого имперского периода, который начался победой России в Наполеоновских войнах (1814) и закончился поражением в Крымской (1856), образованный класс в России говорил и писал по-французски так же хорошо, как по-русски. Часть дворян унаследовала еще и немецкий, а сливки общества говорили по-английски. Знаменитые произведения русской литературы отразили это многоязычие и часто следовали французским образцам (Meuer 2009). В «Евгении Онегине» (1832) «русская душою» Татьяна по-французски пишет письмо своему избраннику, русскому дворянину. Как и другие дамы из высшего общества, объяснял Пушкин, русским она владела хуже, чем французским. Для дворянской элиты французский был языком женщин и семейной жизни, а русский – языком мужчин, их военной службы и поместной экономики, где работу выполняли солдаты и крепостные, с которыми приходилось объясняться. В романе Толстого «Война и мир» (1869), действие которого происходит во время Наполеоновских войн, офицеры и чиновники говорят по-французски с женами и дочерьми, по-русски с подчиненными и на смеси двух языков с равными. В отличие от Пушкина, который решил «перевести» письмо Татьяны на язык русской поэзии, Толстой в своем романе оставил длинные французские диалоги героев без перевода, ожидая, что они будут понятны читателю. Но общество быстро менялось, и уже в следующем издании Толстому пришлось перевести эти фрагменты на русский.

Прочитав «Демократию в Америке» Алексиса де Токвиля, бывший офицер императорской гвардии Петр Чаадаев задался в 1836 году вопросом: есть ли свое предназначение и у России? Ответ его был уничтожающим: «В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников. Мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам». В тот момент, когда империя была богата и обширна, как никогда, ее элита ощущала себя захватчиками в собственных домах, кочевниками в городе, чужестранцами в жизни. «Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной», – по-французски писал Чаадаев в «Философическом письме», обращенном к русской даме. Иллюстрируя свою мысль, Чаадаев сравнивал

русских с «народами Северной Америки», среди которых есть «люди, удивительные по глубине»; у русских же нет своих «мудрецов» и «мыслителей» (1914: 110, 116). Чувство чужеродности в своей стране, ощущение остановившегося времени и критика подражательной культуры были субъективными компонентами внутреннего ориентализма (Condee 2009: 27).

Скандал начался, когда «Философическое письмо» опубликовали в русском переводе. Обличая Чаадаева, бывший сибирский чиновник не без основания писал, что он «отказывает нам во всем, ставит нас ниже дикарей Америки» (Вигель 1998: 78). Пробужденная Чаадаевым, группа интеллектуалов превратила его критику имперской культуры, «заимствованной и подражательной», в призыв к национальному пробуждению. Приняв название, данное им их оппонентами – «славянофилы», они заново изобрели глобальный язык антиимперского протеста, корни которого восходили к французскому Просвещению, Американской революции, критике британской политики в Индии Эдмундом Бёрком, наполеоновской оккупации германских земель и, наконец, польским восстаниям против Российской империи.

В 1836 году Гоголь писал: «Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию: так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу» (1984: 6/162). Как многих российских интеллектуалов того времени, Гоголя очень интересовала Америка. Он даже задумывался об эмиграции в Соединенные Штаты, и для него сравнение имперской столицы с Америкой звучало не так уж плохо. Консервативные мыслители 1840-х часто использовали колониальный язык, критикуя собственную культуру. Бывший гвардейский офицер Алексей Хомяков писал в 1845 году, что Просвещение в России приняло «колониальный характер». В 1847 году он называл российское образованное общество «колонией европейских эклектиков, брошенной в страну дикарей». Просвещенная Россия, по Хомякову, «как всякая европейская колония во всех частях света», приняла «на себя характер завоевательный, конечно, с самыми благодетельными намерениями, но без возможности исполнить их... и без того превосходства духа, который по крайней мере часто служит некоторым оправданием завоеванию». Он описал эти «колониальные отношения» как «полускрытую вражду» между сословиями, где, с одной стороны, выступало «слишком оправданное» подозрение народа в отношении элиты, а с другой – «ничем не оправданное презрение» элиты к народу. На основе такого анализа Хомяков ставил диагноз: российское общество страдает от «раздвоения», «подражательности», «ложного полужнания» и «умственной мертвенности». Как и его любимому автору, Гоголю, Хомякову нравилась метафора «раздвоения», и он так же часто ее использовал. Раздвоение было вызвано петровскими реформами, а после них еще более увеличилось. Раздвоение – неизбежный результат слишком резких и быстрых социальных перемен. Раздвоение отделило народную жизнь от жизни высших сословий. «Там, где общество раздвоилось... – там духовные побуждения теряют свое значение и место их, как я уже сказал, заступает мертвый и мертвящий формализм» (Хомяков 1988: 100, 43, 152, 96, 139).

Задолго до этого, в 1832 году, Хомяков написал трагедию о легендарном Ермаке – казаке, завоевавшем для русской короны Сибирь. Хомяков не героизирует Ермака: он изображен раскаявшимся преступником, которого проклял отец, бросил в тюрьму царь и предали товарищи-казаки. Шаман предлагает ему сибирскую корону, но Ермак выбирает самоубийство. Если бы героем подобной трагедии был Колумб или Кортес, ее бы восприняли как раннее и мощное антиимперское произведение. «Ермак» не снискал успеха ни у критиков, ни у историков, а Хомяков потратил потом много лет на огромный ученый труд на довольно близкую тему, о миграциях и переселениях во все времена и у всех народов. В нем Хомяков подробно рассуждал о судьбах колонизованных народов – кельтов, индусов, готтентотов. Англофон и англофил, один из наиболее одаренных людей своего времени, – инженер, художник, историк и богослов – Хомяков был ревностным православным, как и остальные

славянофилы, но в особом творческом ключе (Engelstein 1999). Многие годы он переписывался со священником из Оксфорда об объединении Православной и Англиканской церквей; более того, он верил, что такое объединение возможно даже с кальвинистами (Хомяков 1871: 105). Писал ли он о России или о мире, Хомяков постоянно думал об империи, колонии, миграции и, наконец, о раздвоении.

Пока британская администрация вводила изучение английского языка в индийских школах, русский коллега Маколей, министр просвещения Сергей Уваров, решил, что европеизация России зашла слишком далеко. В отчете о десяти годах деятельности в министерстве Уваров назвал успешным свое стремление «исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному» (1864). Примечательно, что свои проекты «национального образования» Уваров вначале писал на французском, но затем переключился на русский (Зорин 1997). Дилетант-востоковед и талантливый администратор, Уваров следовал за идеей «национальности», популярной в Европе после Наполеоновских войн, и творчески переводил ее как «народность».

Прошло много лет с тех пор, как Уваров и Маколей планировали новые системы образования для своих империй. В Индии и в России национализм принял две конкурирующие формы – бунтарскую и антиимперскую, с одной стороны, и официальную – с другой. Как Петр I был примером для Маколей, так Лев Толстой был примером для Ганди. Россия была европейской державой наряду с Британией и Францией и одновременно территорией, куда цивилизация приходила с Запада, как она приходила в Индию или Африку. Именно поэтому Маколей сравнивал Россию не с Британской империей, а с ее колонией – Индией. Самых русских, а не поляков или алеутов, империя обучала французскому с успехом, который Маколей стремился повторить, а Уваров – остановить. Этот успех длился недолго, но был важен для всех аспектов имперской политики и культуры. Он разделил интеллектуалов на тех, кто оплакивал утраченную исконную самобытность, и тех, кто приветствовал творческое начало культурной гибридизации. «Что такое учение, как не подражание?» – провозглашал историк Сергей Соловьев, сын которого, Владимир, стал самым оригинальным русским философом (1856: 501). Многие – даже те, кто по другим поводам вряд ли согласился бы между собой, приходили к парадоксальному заключению, что Россия одновременно и империя, и колония. Поздний последователь славянофилов Федор Достоевский писал в 1860 году, что нет другой столь же непонятой страны, как Россия. Даже Луна лучше изучена, утверждал он со знанием дела: он только что вернулся из сибирской каторги. Русский народ был для него загадкой, таинственным, всезнающим и радикально другим, и Достоевский призывал подступать к нему с тем же трепетом, с каким Эдип подступал к сфинксу (1978: 18/41). Философ и правительственный чиновник Константин Кавелин использовал колониальную риторику, оправдывая в 1866 году медленный темп реформ, которые при его участии обретали силу закона: «Представим себе колониста, который в дикой глуши... впервые заведет хозяйство... Как бы хорошо он ни повел свое дело, сколько бы ни создал удобств для своей ежедневной жизни, все его успехи не выдержат никакого сравнения с обстановкой городского и даже пригородного жителя... Мы именно такие колонисты» (1989: 182).

## Славянская глушь

Международная полемика, развернувшаяся между марксистами на рубеже XX века, привлекла их внимание к проблеме империализма и национальной экономики. Полемика велась в критическом ключе по отношению к Марксу: многие участники спора считали, что Маркс неверно понял, в каком соотношении находятся эти два феномена. Российский экономист Петр Струве утверждал, что классовую борьбу усложняют «третьи лица», которые не являются ни капиталистами, ни рабочими. Они живут докапиталистической жиз-

ню и потребляют «излишки», но поставляют на капиталистический рынок свой труд и этим обеспечивают рост экономики (Струве 1894). Отвечая на доводы Струве, немецкая социалистка Роза Люксембург писала, что эту роль более эффективно, чем «третьи лица» внутри страны, выполняют иностранные рынки. В работе Люксембург «Накопление капитала» (Luxemburg 1913; 2003) доказывается, что капитализм всегда будет нуждаться в новых рынках, а следовательно, он будет неизбежно связан с империализмом. Таким образом, борьба с капиталом есть одновременно борьба с империей. Ханна Арендт заметила, что, объединив две эмансипаторные программы, социал-демократическую и антиимпериалистическую, эта идея смогла много раз потрясти мир и столько же раз увянуть: «Каждое движение “новых левых”, когда для них настает момент стать “старыми левыми” – обычно это бывает, когда его членам исполняется лет сорок, – хоронит страсть к трудам Розы Люксембург вместе с мечтами юности» (Arendt 1968: 38).

Отвечая Люксембург, Владимир Ленин в своем раннем труде «Развитие капитализма в России», написанном в сибирской ссылке, предположил, что в больших континентальных странах, таких как Россия или США, неравномерность внутреннего развития играет роль неравенства между метрополиями и колониями. В этих странах собственные «излишки» должны уходить на колонизацию их внутренних пространств, обеспечивая развитие капитализма. Внутренние неравенства, таким образом, могут играть ту же роль, что и внешние. Рассуждая о слабо развитых пространствах на Волге, в Сибири и других частях России, Ленин активно использовал термины «внутренняя колонизация» и «внутренняя колония» (1967: 3/593 – 596). Полемизируя с такими «легальными марксистами», как Струве, Ленин анализировал не только потоки капитала, но и демографические потоки миграции на территории внутренней колонизации. Без колебаний Ленин применял термин «внутренняя колония» и к частям России, населенным этническими русскими (например, новороссийские степи и архангельские леса), и к территориям со смешанным (Сибирь, Крым) и инородческим (Грузия) населением. По словам Ленина, его родные места на средней Волге – тоже одна из таких «внутренних колоний». Его рассуждения о «внутренней колонизации» и «прогрессивной миссии капитализма» были основаны на путеводной для него аналогии между Россией и Соединенными Штатами, от которой он спустя несколько лет отказался (Эткинд 2001b).

Выдающийся американский историк и черный активист У.Э.В. Дюбойс описывал дискриминируемые в США меньшинства, расовые или социальные, в колониальных терминах: «Есть группы людей с квазиколониальным статусом: рабочие, которые ютятся в трущобах больших городов, и такие группы, как негры» (цит. по: Gutierrez 2004). Подобно Ленину, Дюбойс заимствовал идею внутренней колонизации из языка прусской бюрократии. Там она означала государственную программу управления землями, пограничными между Пруссией и «диким» славянским востоком. Немецкая колонизация польских и балтийских земель началась в Средние века; потом ее последовательно придерживался Фридрих Великий. На этих шатких исторических основаниях прусские, а впоследствии немецкие чиновники называли свою восточную политику «программой внутренней колонизации», отличая ее от внешней колонизации Африки и других дальних стран, которыми руководили другие чиновники. В середине XIX века прусское правительство потратило миллионы марок на скупку польских поместий, распределяя их земли между фермерами-немцами. При Бисмарке в дополнение к этой политике были введены паспорта, ограничены права сезонных рабочих-славян и даже проведена депортация славянского населения из Пруссии. Примечательно, что ключевая для этой политики фигура Макс Зеринг, вдохновлялся американским примером: в 1883 году он вернулся из поездки по Среднему Западу США с идеей организовать на восточных границах Германии фронт, подобный американскому. В 1912 году Зеринг посетил Россию. В 1886 году была основана Королевская Прусская комиссия по колонизации; тогда же начался судьбоносный спор о том, какая колонизация нужна Германии – «морская», как в

Африке, или «внутренняя», как в Польше. В споре принял участие Макс Вебер, опубликовав обзор, в котором рекомендовал собственную версию внутренней колонизации «варварского Востока»<sup>6</sup>. Соавтором Вебера в этой работе стал Густав Шмоллер, один из лидеров движения внутренней колонизации, но позже их пути разошлись. Как историк, Шмоллер опирался на пример прусского *Drang nach Osten* (натиска на восток) и подчеркивал роль программ переселения при Фридрихе Великом, которые он тоже считал примером «внутренней колонизации» (Schmoller 1886, Zimmerman 2006). Такая историческая ретроспектива, в значительной степени мифологизированная, была ключевым фактором для политических планов этих колонизаторов: ранние исторические прецеденты делали новейшие попытки колонизации «внутренними», что должно было выгодно отличать их от британского империализма. Как мы увидим в главе 7, исторические примеры немецкой колонизации простирались далеко на восток, до самой Волги.

Во время Первой мировой войны прусские сторонники внутренней колонизации предали «мечтаниям всемирного масштаба», стремясь к освоению оккупированных польских и украинских земель (Koehl 1953). Предназначенная обогнать Россию в ее собственном методе экспансии в сопредельные земли, вскоре и эта политика стала недостаточной для самых смелых мечтателей. Нацисты отвергли идею и практику внутренней колонизации. Планируя новое пространство в Восточной Европе, прошедшей этническую чистку, Гитлер сравнивал этот проект с европейским завоеванием Америки (Blackbourn 2009; Kopp 2011; Vaganowski 2011). Отказавшись от наследия Бисмарка, которое обуславливало «внутреннюю колонизацию» неуправляемой и, наверное, не очень понятной ему политикой памяти, Гитлер делал выбор в пользу колонизации внешней, и не в Африке, а в Евразии: «Если Европе нужны земли, их можно получить только за счет России». Когда политические мечты обгоняли исторические прецеденты, различать между внешним и внутренним становилось излишним. Заостряя свою мысль, Гитлер называл планы внутренней колонизации еврейской идеей:

Для нас, немцев, лозунг «внутренней колонизации» катастрофичен... Не случайно именно иудей всегда пытается внушить нашему народу такие смертельно опасные способы мышления... Без приобретения новых земель, одной внутренней колонизации... всегда будет недостаточно, чтобы обезопасить будущее немецкой нации (Hitler 1969: 125, 128).

## **Эффект бумеранга**

В 1920-х итальянский марксист Антонио Грамши назвал отношения между двумя частями своей страны – югом и севером – колониальной эксплуатацией. Он понимал сложность этой внутринациональной, даже внутриэтнической колонизации лучше, чем его предшественники. Ее культурный вектор Грамши назвал гегемонией; он отличался от политического вектора – доминирования, и экономического вектора – эксплуатации. Все три вектора приходилось рассматривать по отдельности, так как они были направлены в разные, а иногда даже в противоположные стороны. Экономически области Южной Италии стали «эксплуатируемыми колониями» севера, но в то же время культура юга сильно влияла на культуру севера и даже вела ее за собой (Gramsci 1957: 28, 48). Во многих ситуациях внешней колонизации эти элементы власти сцеплены воедино, но благодаря особенной структуре итальянского колониализма, направленной вовнутрь страны, Грамши смог отделить их друг от друга. Пересмотрев марксистское учение о том, как экономический базис определяет над-

---

<sup>6</sup> См.: Koehl 1953; Brubaker 1992: 31; Paddock 2010: 77; Dabag 2004: 46; Nelson 2009, 2010.

стройку, Грамши создал понятия гегемонии и доминирования, которые оказались важными для культуральных и постколониальных исследований. Созданные в Италии, они были применены в Индии и по всему миру (Guha 1997).

Рассуждая об отношениях между властью (которая в ее понимании близка к гегемонии) и насилием (доминированием), Ханна Арендт описала эффект бумеранга, который наблюдается, когда имперское правительство переносит практики управления, выработанные в колониях, обратно в метрополию. В конце концов насилие, употребленное против «подчиненной расы», обратится на самих англичан, которые станут «последней подчиненной расой», предсказывала Арендт. Однако она видела и то, что некоторые из высших чиновников империи (например, лорд Кромер) понимали опасность этого бумеранга, так что на деле этот «ужасающий эффект» сдерживал их действия в Индии и Африке (Arendt 1970: 54). С ее колониальными корнями, метафора бумеранга передает старый кантовский страх перед тем, что европейскими народами будут управлять так, как будто они, подобно дикарям, не способны управлять собой сами. Антропологи неоднократно подчеркивали роль колоний как «лаборатории современности», где испытывались новейшие технологии власти (Stoler 1995: 17). Однако, когда метрополии внедряли методы колониальной власти у себя дома, они надлежащим образом изменяли их функции. Хорошим примером является проект Паноптикона. Придуманый для фабрики, которую предприимчивые британцы хотели открыть в российской колонии на захваченной польской земле, в Англии этот дизайн пригодился для тюрьмы (см. главу 7).

Идея бумеранга стала ключевой для основного труда Арендт – «Истоков тоталитаризма» (Arendt 1966), в котором советский и нацистский режимы рассматриваются в одном ряду с европейскими колониями в Африке и Азии, как их позднее и жуткое превращение. Несмотря на неизбывную популярность теоретических идей Арендт, к этой части ее наследия обращались лишь самые ранние и самые недавние исследователи (Pietz 1988; Rothberg 2009; Mantena 2010a). За одним важным исключением (Wom 2010), их внимание обычно привлекает немецкая часть «Истоков...», а российско-советская остается в тени. Действительно, анализ русского панславизма как стадии в развитии расизма и тоталитаризма стал неудачей Арендт. Концепция панславизма была тупиком; не он привел к революции в России. Идея эффекта бумеранга у Арендт была блестящей, но для приложения ее к России нужно понимать российский империализм не только как внешний, но и как внутренний процесс. Давние традиции насилия и принуждения, которые Российская империя применяла к собственным крестьянам, помогают объяснить революцию и тоталитаризм как бумеранг, обрушившийся из недавних крепостных поместий на городские центры и на само государство. Потом и революционное государство впитало долгий опыт империи и переняло ее практики обращения с подданными, русскими и нерусскими, обратив их против собственной элиты и в конечном итоге против самого себя. В отличие от немецкого бумеранга, который, как показала Арендт, через океаны вернулся в германские земли из заморских колоний, российский бумеранг пронесся по внутренним пространствам империи. В таком понимании советский тоталитаризм становится логичным, но сложным и своеобразным проявлением эффекта бумеранга.

Говоря о переносе расовых идей из колоний в Европу во время английской и французской революций, Мишель Фуко делал вывод:

Не нужно забывать, что колонизация... переносила европейские модели на другие континенты, но она оказывала и обратное влияние, эффект бумеранга, на механизмы власти на Западе. Существовала целая серия колониальных моделей, которые были перенесены обратно на Запад и

привели к тому, что Запад смог практиковать в отношении самого себя нечто вроде колонизации, внутренней колонизации (2005: 103).

Это интересная комбинация терминов: «эффект бумеранга» Фуко, вероятно, заимствовал у Арндт, а «внутренний колониализм» он здесь определяет сам. За сто лет до Фуко губернский чиновник и сатирик Михаил Салтыков-Щедрин опубликовал серию очерков «Господа ташкентцы», в которой выявлял те же процессы – внутренний колониализм и эффект бумеранга – в российской действительности своего времени. Ташкент, ныне столица Узбекистана, после его взятия российскими войсками в 1865 году стал центром огромной среднеазиатской колонии (Sahadeo 2007). Щедрин выбрал этот величайший успех российского империализма для того, чтобы показать его обратное действие на политику и нравы внутренней России. Возвращаясь из Ташкента, с Кавказа и других «покоренных» мест, офицеры и чиновники империи приносили свои новообретенные навыки насилия домой, в столицы и губернии. Господа ташкентцы называют себя «цивилизаторами», пишет Щедрин; на деле они – «ходячий кошмар, который прокрадывается во все закоулки жизни». Типичный ташкентец «цивилизировал» Польшу еще до того, как попал в Ташкент, но именно в азиатском Ташкенте узнал, как «цивилизовать» саму Россию. Эту идею иллюстрируют истории о том, как господа ташкентцы избивают и подкупают господ петербуржцев, предполагая, что именно в этом состоит их цивилизационная миссия. Если вы попадете в город, где нет школ, но есть острог, «вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента», писал сатирик. Как майор Ковалев, потерявший нос по возвращении с Кавказа, чиновники сталкиваются с катастрофой, которую сами создают, но совсем не понимают. Проследив дугу имперского бумеранга на его обратном пути из колонии в метрополию, Салтыков-Щедрин определяет внутренний Восток – на его языке, «ташкентство», – как сочетание насилия и невежества, укоренившееся в отношениях между российскими центрами и колониями (1936: 10/29 – 280).

Два великих конфликта, противоречивые, но освободительные, доминировали в мире конца XX – начала XXI века: деколонизация Третьего мира и десоветизация Второго. Исторически оба конфликта взаимосвязаны, но их историографии различны (Moore 2001). Начиная с эпохи Просвещения у академической истории был свой эффект бумеранга: знание процессов колонизации и деколонизации на Востоке облегчало понимание того, что происходило на Западе. Произошедшая за последние десятилетия революция в историографии обратилась к роли, которую сыграли в становлении современного мира государство и присутствующие ему механизмы внешнего и внутреннего насилия (Tilly 1990; Bartlett 1993; Mann 1996). Социолог Майкл Манн показал, что в ходе современной истории демократические страны в своих колониях убили больше местного населения, чем авторитарные империи. Становление либеральных демократий в метрополиях, а потом и в колониях часто следовало за этническими чистками, которые принимали форму институционального принуждения, а иногда и массовых убийств. Пока империи поддерживали сложные, плюралистичные «социопро-странственные сети власти», они избегали массового кровопролития. Национализм в колониях и метрополиях, связанный с индустриализацией, развитием всеобщего образования и массового потребления, заботой государства об экономическом росте, стимулирует новый, «органический» взгляд на общество как однородную культурную целостность. Империи распадаются на национальные государства, а этот процесс сопровождается масштабным насилием. Новые нации стремятся редуцировать свою внутреннюю сложность, развивая демократическое участие, политизируя культуру, унифицируя образование, передвигая границы, перемещая население и, наконец, переходя к этническим чисткам. Для Манна (Mann 2005) это «темная сторона демократии», или, используя другую метафору, современное «сердце тьмы».

В России органический национализм начался в эпоху Наполеоновских войн и созрел в течение двух столетий, хотя советская суперимперия сумела эффективно заморозить его развитие. Распад СССР в 1991 году означал деколонизацию пятнадцати наций, включая российскую. В тот момент массового насилия удалось избежать или по крайней мере отсрочить. Слабость российской демократии и относительно бескровный характер падения советского строя объясняют тем, что национализм в России так полностью и не созрел (Hosking 1997); этим явлениям есть и другие объяснения, правдоподобие которых меняется с новыми поворотами российской (а также украинской, грузинской и т. д.) политики. Несмотря на свою важность для современного мира, эти процессы недостаточно осмыслены. В одной из редких попыток проанализировать постсоветскую трансформацию в постколониальном ключе Дэвид Чиони Мур описал ситуацию «двойного молчания»: специалисты по постколониальной теории хранят молчание о постсоветском пространстве, а советологи и слависты молчат о постколониальной теории. Мур предложил два объяснения этого двойного эффекта. Для многих исследователей-постколониалистов с их марксистскими симпатиями лучшей альтернативой глобальному капитализму представляется социализм, и они не хотят переносить острие своей критики с первого на последний. Ученые из бывших социалистических стран, напротив, культивируют новую европейскую идентичность и не хотят сравнивать свой опыт с опытом коллег из Азии или Африки (Moore 2001: 115–117). Удивление Мура разделяют и другие исследователи (Condee 2006, 2008; Buchowski 2006; Chari, Verdery 2009). Разрыв между постколониальным и постсоциалистическим стал причиной деполитизации постколониальных исследований, на которую сетуют их энтузиасты, и провинциализации постсоветских исследований, на которую жалуются русисты. Причины и последствия этого разрыва как академические, так и политические. По словам Нэнси Конди, «молчание левых интеллектуалов о том, что происходило во Втором мире, и антикоммунизм правых интеллектуалов были двумя взаимосвязанными процессами, взаимно соблюдаемыми ограничениями» (Condee 2008: 236). У этих ограничений больше нет оправданий; их надо игнорировать или, если надо, ломать.

В этой книге я предлагаю сделать шаг назад. Не только постсоветский период истории России постколониален, хотя до сих пор остается имперским: уже советская эпоха была постколониальной. И на отдаленных ее границах, и в темных ее глубинах Российская империя была великой колониальной системой. У идеи внутренней колонизации, которую использовали Бисмарк, Ленин и Гитлер; разрабатывали российские историки XIX века (см. главу 4); упоминали Вебер, Фуко и Хабермас, – более глубокая генеалогия, чем обычно думают. Но расширение постколониальной конструкции, и без того не очень связной, на Россию означает не просто применение уже существующих идей к новым имперским просторам. Такое расширение требует творческой работы, которая не только поможет понять имперский опыт России, но и высвободить потенциал самой постколониальной теории.

## Глава 2

### Жить в миру

Два очень разных автора, Ханна Арендт и Эдвард Саид, полагались на одно редкое понятие, которое использовали независимо друг от друга. Это понятие, «worldliness», трудно перевести на русский язык; здесь я буду писать «жить в миру» (хотя думал и о более творческих решениях, например «мировитость»), а в качестве антонима буду использовать «безмирность». Изучая «человечность в темные времена», Арендт рассказала, как люди реагировали на коллапс публичной сферы навязчивым сближением друг с другом, как они принимали «тепло» за «свет» и жили в «безмирности», которая является «формой варварства» (1968: 13). Также занимаясь темными временами, Саид протестовал против популярной идеи, согласно которой литература имеет собственную жизнь, отдельную от истории, политики и других мирских занятий (Ashcroft, Ahluwalia 1999: 33; Wood 2003: 3). Интерес к миру так же важен, когда читаешь Арендт и Саида, как когда читаешь Гоголя или Конрада. Но на земле всегда есть несколько миров. Во времена холодной войны их было официально три.

### Три мира

Начав свою работу в годы холодной войны, Эдвард Саид определил ориентализм как способ обращения Первого мира с Третьим. Из этой формулировки выпал Второй мир. Во введении к «Ориентализму» Саид выделяет Холодную войну – «эру исключительно бурных отношений между Востоком и Западом» – как самое важное из исторических обстоятельств, сделавших возможным его исследование. И действительно, идея трех миров впервые появилась около 1955 года, выражая тревогу Запада по поводу возраставшей популярности СССР в бывших колониях западных империй – влияния Второго мира на Третий (Sachs 1976; Pletsch 1981; Moore 2001). В 1970-х годах СССР все еще сохранял это влияние, давая Саиду основания утверждать: «Вряд ли ошибусь, если скажу, что “Восток”... неизменно означал опасность и угрозу, шла ли речь о традиционном Востоке или о России» (2006: 45). Таким образом, в этой вводной части своей книги и со ссылкой на холодную войну Саид объединил традиционный Восток (*Orient*) и нетрадиционный – Россию в одном понятии, «Восток» (*East*). Однако все последующие главы были посвящены исключительно отношениям Запада с «традиционным Востоком». Осмысление нетрадиционной части востока откладывалось на будущее.

Говоря о традиционном Востоке, который простирался от средиземноморского побережья до Индийского и южной части Тихого океана, то есть вдоль южных границ Российской империи, Саид показывал, что европейская политика в этой части Востока сопровождалась настойчивым вниманием публики к захваченным территориям, обезличивая их обитателей на основе ориенталистских стереотипов. Знание о жителях колоний определяло мир тех, кто управлял ими, и сами методы управления. Великие тексты «западной традиции» не были «невинными», но постоянно обращались к имперскому и колониальному опыту. Саид критиковал традиционный ориентализм за то, что тот представлял Запад и Восток как самостоятельные платоновские сущности, раздваивавшие имперское воображение, превращая его в «манихейский бред».

Современные авторы скорректировали многие аргументы Саида. На примере Британии Дэвид Кэннедайн (Cannadine 2001) продемонстрировал, что культурный обмен между метрополией и колониями на самом деле был двусторонним. Британский «орнаментализм», который подражал индийцам на кухне, в моде или в духовных исканиях, был скорее пра-

вилом, нежели исключением. Еще важнее было то, что в своих колониях британцы предпочитали замечать скорее подобное, чем отличное, чтобы иметь дело со знакомыми иерархиями, а не с экзотическим и опасным беспорядком. Исследуя германский колониализм, Рассел Берман (Berman 1998) показал, что в других западных империях, за пределами Британской и Французской, культурная логика ориентализма была иной. Согласно Берману, немецкие ученые и миссионеры более внимательно относились к коренному населению и не отказывали ему в человеческом достоинстве в такой степени, в какой это делали их французские и британские коллеги. Ориентализм, таким образом, не был единообразной культурной моделью, но менялся в зависимости от обстоятельств места, времени и происхождения. Хоми Баба (Bhabha 1994) расшатал саидовское противопоставление имперских господ и колониальных подданных, обратив внимание на парадоксально творческие аспекты колониализма. Благодаря его трудам культурная гибридизация стала популярной темой в постколониальных исследованиях. Если Франц Фанон и Эдвард Саид описывали «манихейское противопоставление» колонизаторов и колонизируемых, предметом внимания новой волны постколониальных исследований стали огромные «серые зоны» и «срединные образования» (Cooper, Stoler 1997). Наконец, Гаян Пракаш отметил связь между логикой Саида и трехчастной картой мира, унаследованной от эпохи холодной войны. «Даже если мы признаем, что три мира соединились в единую дифференцированную структуру, запрос на ее критику остается актуальным», – писал Пракаш (Prakash 1996: 199).

На фоне других европейских держав Российскую империю выделяло пограничное положение между Западом и Востоком; сложная составная структура, включавшая и западные, и восточные элементы; и культура саморефлексии, позволявшая творчески соединять ориентализм с оксидентализмом и другими течениями. Этот исторический феномен сложно помыслить как воплощение платоновских идей Запада и Востока. Платоновские сущности неуклюжи и трудны в обращении. Гораздо удобнее представлять себе Восток и Запад как гераклитовские стихии, которые могут свободно смешиваться, пусть и не в любых сочетаниях. Стихии Запада и Востока иногда нуждались друг в друге, подобно огню и воздуху; иногда вытесняли друг друга, как огонь и вода; а чаще всего сосуществовали в сложных, многослойных смесях, складках и карманах, как вода и земля.

Двигаясь по следам Саида, я собираюсь показать, как его герои, английские авторы, строили свои российские фантазии так, чтобы их рассказ был одновременно ориенталистским и «нетрадиционным», отличаясь от того, что Саид считал нормативным западным письмом о «традиционном Востоке». Я обращаюсь к Дефо, Киплингу и Бальфуру; далее следует отдельная глава, посвященная Конраду. Я не утверждаю, что подобное чтение приложимо ко всем или хотя бы к большинству героев «Ориентализма». Однако нет сомнения в том, что эти четыре автора важны и для Саида, и для его читателей. В заключительной части данной главы я обращаюсь к одному из источников пренебрежения Саида в отношении России, которая выпала из аналитической схемы ориентализма.

## Соболя Робинзона

Некоторые принципиальные положения Саида вдохновлены «Робинзоном Крузо». Перечитывая это новаторское описание того, что происходит с человеком Запада на земле Востока, Саид особенно интересовался отношением Робинзона к деньгам, путешествиям и одиночеству. Но, подобно многим читателям Дефо, Саид читал или помнил только первый том его трилогии и игнорировал второй – «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» (1719). Эти новые приключения завели Робинзона гораздо дальше всем известного острова. Прodelав тысячи миль почти исключительно по суше, Робинзон посетил Мадагаскар, Китай, Тартарию и Сибирь и вернулся в Англию через Архангельск. Новый географи-

ческий опыт сильно отличался от полученного на необитаемом острове, а социальные приключения были совсем не те, что с Пятницей. В Евразии он имел дело с ушлыми местными торговцами, вступил в конфликт с командой собственного корабля, потерял Пятницу, уничтожил туземную деревню, основал новую колонию, потерпел неудачу как колониальный администратор и наконец, достигнув России, нашел нового друга и разбогател. Пересекая Сибирь с юга на запад, Робинзон испытывал одновременно облегчение и разочарование.

Я думал было, что, приближаясь к Европе, мы будем проезжать через более культурные и гуще населенные области, но ошибся. Нам предстояло еще проехать через Тунгусскую область... населенную такими же язычниками и варварами; правда, завоеванные московитами, они не так опасны, как племена, которые мы миновали [что же касается грубости нравов и идолопоклонства, вряд ли на земле есть народ, который их в этом превосходит]<sup>7</sup> (Дефо 1997: 499).

С учетом предыдущих приключений рассказчика это сильное заявление. Ужасные тунгусы особенно поразили Робинзона своей меховой одеждой: «Одеждой тунгусам служат звериные шкуры, и ими же они покрывают свои юрты» (Дефо 1997: 449). Как мы вскоре увидим, деловое чутье не подвело Робинзона; с его же представлениями о географии дело было сложнее. Озабоченный поиском природной границы между Европой и Азией, как и многие путешественники того времени (Вульф 2003), Робинзон вначале сообщил, что она проходит по Енисею, но несколько страниц спустя перенес ее далеко к западу, на Каму. В Сибири Робинзон также занимался сравнительными исследованиями.

---

<sup>7</sup> В квадратных скобках приведены фрагменты, отсутствующие в русском переводе З.Н. Журавской.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.